

*Посвящается
Филиппу Шпитцеру и Джоэлу Готлеру —
моим литературным агентам и друзьям*

ГЛАВА 1

Смерть — вот за чем я охочусь. Именно она помогает мне зарабатывать себе на жизнь и служит фундаментом, на котором зиждется моя профессиональная слава. К каждому такому случаю я подхожу с трепетом итайной радостью, достойными владельца похоронного бюро, но, оказываясь в обществе тех, кого смерть лишила родных и близких, я умею быть торжественно печальным и исполненным видимого сочувствия. Лишь наедине с собой я обращаюсь со смертью хладнокровно, как опытный и умелый мастер, ибо мне известен секрет, — во всяком случае, я всегда считал, что знаю основополагающую истину: держи смерть на расстоянии вытянутой руки и не позволяй ей дышать тебе в лицо.

Но это «золотое правило» не смогло защитить меня самого. Когда однажды появились два детектива и рассказали, что случилось с Шоном, мое тело и душу как будто сковало льдом. Я ощущал себя словно рыба, которая тупо взирает на происходящее за стенами аквариума. Да и двигался я будто под водой — туда и обратно, туда и обратно, — глядя на мир сквозь толстое мутное стекло.

Сидя на заднем сиденье полицейской машины, я видел в зеркале свои глаза; когда мы проезжали под уличным фонарем, в них вспыхивал мертвенный синеватый свет, и я узнавал выражение нездешней отстраненности, которое и сам прежде не раз наблюдал у свежеиспеченных вдов, у которых мне доводилось брать интервью.

Из двух детективов я знал только одного — Гарольда Векслера. Мне приходилось встречаться с ним несколькими месяцами раньше, когда я заезжал в бар «Пуля», чтобы пообщаться со своим братом Шоном. Они с Векслером вместе работали в Управлении полиции Денвера, в отделе преступлений против личности. Помнится, брат называл своего товарища Вексом, а тот его — Маком; копы отчего-то испытывают пристрастие к прозвищам. Вероятно, в такой форме проявляется их профессиональная солидарность, которая, как мне кажется, сильно смахивает на первобытный союз мужчин одного племени. Правда, далеко не все прозвища оказываются столь безобидными. Помнится, в Колорадо-Спрингс я знал одного полицейского, чья фамилия была Скригс; так со служивцы быстро переделали ее в Скрягс, а некоторые называли его попросту Скрягой, однако парень не обижался. Впрочем, использовать подобные обращения могут лишь самые близкие друзья, так что какие уж тут обиды.

Своим телосложением Векслер напоминал небольшого крепенького бычка, достаточно сильного, но широкого в кости и оттого слегка тяжеловатого. Когда мы в прошлый раз сидели в баре, голос его звучал спокойно и размеренно, словно купаясь в табачном дыму и запахах спиртного, медленно сгущавшихся под потолком заведения. Продолговатое лицо с острыми чертами казалось мне излишне красным всякий раз, когда я бросал взгляд в его сторону. Еще я запомнил, что в тот вечер, когда мы познакомились, Векслер заказал себе виски «Джим Бим» со льдом. Я всегда интересуюсь тем, что пьют копы: напиток, стоящий на барной стойке, порой говорит о характере человека гораздо больше, чем ему хотелось бы. Например, если я вижу полицейского, который глушит почти чистое виски, мне всегда кажется, будто передо мной парень, который слишком часто сталкивается с такими вещами, с такими обычные люди могут не встре-

титься за целую жизнь. Что касается Шона, то он в тот раз предпочел некрепкое пиво; впрочем, мой брат был еще молод — как минимум лет на десять моложе Векслера, хотя и сумел подняться выше его по служебной лестнице. Возможно, по прошествии лет он, как и его напарник, стал бы пить свое лекарство неразбавленным и сильно охлажденным.

Об этом последнем вечере в «Пуле» я думал большую часть времени, что мы ехали по шоссе, ведущему из Денвера. Вряд ли теперь мне удастся разобраться, что к чему. Тогда, похоже, ничего важного не произошло; просто мы с братом встретились в баре для полицейских, чтобы пропустить пару стаканчиков. Насколько я помнил, это был последний раз, когда мы с ним так хорошо посидели. Потом Шон занялся делом Терезы Лофтон, между нами возникла размолвка, и теперь уже ничего не исправишь...

При мысли об этом я снова почувствовал себя в холодном и сыром аквариуме. Иногда, впрочем, реальность все же проникала сквозь толстое зеленоватое стекло, достигала самого сердца, и тогда меня охватывали печаль и горькое осознание собственного провала. За тридцать четыре года это был, пожалуй, первый случай, когда моя собственная душа рвалась в клочья, хотя еще раньше мне довелось пережить гибель сестры Сары. Тогда, впрочем, я был слишком юн, чтобы в полной мере осознать, как может быть больно, когда рядом с тобой внезапно и трагично обрывается чья-то молодая жизнь. Теперь же обрушившееся на меня горе казалось особенно страшным оттого, что я и понятия не имел, как близко подошел Шон к последней черте. В моих представлениях он все еще пил легкое пиво, в то время как остальные копы — я знал это — давно пристрастились к виски со льдом.

Разумеется, я понимал, насколько мое горе продиктовано банальной жалостью к себе. Правда состояла в том, что мы уже довольно долгое время почти не при-

слушивались друг к другу. Фактически мы с братом давно шли по разным дорогам, и каждый из нас выбрал для себя свой путь. Все это было совершенно правильно и справедливо, но мне от этого становилось только тяжелее.

Как-то в минуту откровенности Шон выложил мне свою теорию предела. Он считал, что каждый коп, который занимается расследованием убийств, обладает собственным лимитом, однако где именно проходит эта ограничительная черта, можно узнать, только когда уже подойдешь к ней вплотную. Собственно говоря, Шон имел в виду трупы и считал, что их максимальное количество для каждого копа выражается вполне конкретным числом. Некоторые полицейские выполняют свою норму довольно быстро, тогда как другие могут прослужить в отделе по расследованию убийств двадцать лет, да так и не приблизиться к своему пределу; но он тем не менее есть у каждого. Когда в один прекрасный день полицейский упирается в него, ему остается либо перевестись в более спокойное место, либо сдать значок и попробовать заняться чем-нибудь другим, потому что он просто физически не в состоянии и дальше смотреть на мертвые тела. Если же, после того как ты исчерпал свой лимит, подобное все же случается — вот тогда ты в серьезной беде. Дело может кончиться тем, что ты вставишь в рот ствол пистолета и нажмешь на курок.

Так сказал Шон.

Внезапно я осознал, что напарник Векслера, Рэй Сент-Луис, вот уже некоторое время что-то говорит, обращаясь ко мне. Развернувшись на сиденье, он смотрел на меня в упор, и я подумал, что Рэй выглядит намного крупнее Векса. Даже в полутемном салоне полицейской машины я мог отчетливо рассмотреть его грубое лицо

и изъеденные оспинами щеки. До сегодняшнего дня мы не были знакомы лично, однако я знал Сент-Луиса по рассказам других полицейских и помнил, что они называли его Большим Псом. Когда я увидел эту парочку в вестибюле нашей газеты «Роки-Маунтин ньюс», где они ожидали меня, то сразу подумал что Векслер и Сент-Луис очень напоминают Мьюта и Джеффа, героев неизвестных комиксов. Оба были в длинных темных нахидках и надвинутых на глаза шляпах, однако общее мрачное впечатление несколько скрадывалось тем обстоятельством, что окружающая обстановка не была выдержанна в черно-белой гамме.

— Сделаем так, Джек, — говорил сейчас Сент-Луис. — Мы сами все ей расскажем. Это часть нашей работы, но мы хотели бы, чтобы ты был рядом и помог нам в случае каких-нибудь осложнений. Например, остался бы с ней на ночь. Сам понимаешь — подобные вещи, особенно в первое время, переносятся гораздо легче, если рядом есть кто-то из родственников.

— Ладно.

— Вот и хорошо.

Мы ехали в Боулдер, домой к Шону, и я отлично понимал, что никому из нас не придется рассказывать страшные новости его жене. Рили догадается обо всем в тот же миг, когда откроет дверь и увидит нас троих. Да любая супруга полицейского в такой ситуации сразу поймет все без слов, ибо подспудно готовится к этому всю свою жизнь, хотя и предпочитает не думать о том, что может случиться. Каждый раз, когда в дверь стучится кто-то посторонний, жены копов вздрагивают от страха, боясь увидеть на пороге сослуживцев мужа с дурными вестями. Что ж, на этот раз все будет именно так, как в самом кошмарном сне.

— Ты ведь и сам знаешь, что объяснять ничего не понадобится, — сказал я в пространство.

— Наверное. — Векслер пожал плечами. — Обычно так и бывает.

Я понял, что оба детектива рассчитывают на то, что Рили интуитивно угадает правду, как только откроет нам дверь. Это, несомненно, облегчило бы их задачу.

Я опустил голову и, упервшись подбородком в грудь, потер двумя пальцами переносицу под очками. Не счастье, сколько я за свою журналистскую карьеру состряпал репортажей, где, в подробностях описывая проявление горя и переживания родственников, вызванные невосполнимой потерей, прилагал все усилия, чтобы материал на четыреста двадцать строк выглядел максимально глубокомысленным и значимым. Теперь, по иронии судьбы, я сам мог стать одним из действующих лиц подобной статьи.

Волна обжигающего стыда захлестнула меня при воспоминании о назойливых телефонных звонках, о моих настойчивых попытках взять интервью у вдовы или у родителей, потерявших ребенка. И даже у брата самоубийцы. Да, мне приходилось проделывать и такое тоже. Наверное, не было ни одной разновидности смерти, о какой мне еще не доводилось писать, и всякий раз я не прошенным гостем вторгался в чужую боль.

«Что вы сейчас чувствуете?»

Это коронный репортерский вопрос, его всегда задашь одним из первых. Не всегда он столь незатейлив и прям, порой облечен в слова, призванные замаскировать его суть и создать видимость сострадания и понимания — эмоций, которых я, готовя материал для газеты, никогда не испытывал. Кстати, на моем лице есть отметина, этакое напоминание о собственной бессердечности — тонкий белый шрам, пересекающий левую скулу как раз над тем местом, откуда растет борода. Это след от кольца с бриллиантом, принадлежавшего женщине, чей жених погиб под лавиной в районе Брекенриджа. Ко-

ронный вопрос был у меня наготове, я задал его, и она ответила мне ударом наотмашь, врезала тыльной стороной ладони. Тогда я еще только начинал работать журналистом и считал, что со мной обошлись несправедливо. Сейчас я горжусь этим шрамом, словно орденом.

— Останови-ка, — попросил я. — Меня сейчас стошнит.

Векслер круто свернул на обочину. Асфальт заледенел, и машину занесло, однако уже в следующий момент водитель справился с управлением и начал тормозить. Еще до того, как автомобиль полностью остановился, я попытался открыть дверцу, однако ручки почему-то не работали. Наконец я сообразил, что нахожусь в полицейской машине, заднее сиденье которой предназначено главным образом для арестованных и подозреваемых. На дверцах в целях безопасности были установлены специальные замки с дистанционным управлением.

— Дверь... — с трудом выдавил я.

Машина наконец остановилась, и Векслер разблокировал замок. Я распахнул дверцу, свесился наружу, и меня вырвало в грязный, полурастаявший снег. Трижды я ощущал, как из желудка поднимается могучий очистительный спазм, а потом все прекратилось. Примерно минуту я не двигался, ожидая нового приступа, но его не последовало. Внутри меня было пусто, и не только в физическом смысле. Выпрямляясь, я подумал о заднем сиденье, предназначенном для подозреваемых и задержанных. Я сейчас был и тем и другим — возможным виновником смерти брата, узником собственного тщеславия. В обоих случаях приговор мог быть только один — жизнь.

Но эти мысли быстро оставили меня, изгнанные облегчением, которое принесла с собой рвота. Я даже решил выбраться из салона и сделать несколько шагов к самому краю асфальтированного шоссе, где свет фар

проносящихся мимо машин вспыхивал на февральском снегу, покрытом тончайшей нефтяной пленкой, тусклыми радугами-разводами. Похоже, мы остановились возле какого-то пастбища, но я никак не мог сообразить, где именно: погрузившись в свои невеселые размышления, я не заметил, как далеко от Денвера мы успели отъехать.

Я снял очки и перчатки и положил их в карман куртки. Затем наклонился и сунул руки в сугроб, стараясь добраться до самой глубины, где обжигающий снег под серой коркой еще оставался неиспорченным и чистым. Набрав полные пригоршни белого порошка, я принялся растирать лицо и делал это до тех пор, пока кожу не начало покалывать.

— Эй, ты в порядке? — окликнул меня Сент-Луис.

А я и не заметил, как он подошел. Проигнорировав его вопрос, столь же дурацкий, как и мое излюбленное «Что вы сейчас чувствуете?», я лишь сказал:

— Поехали. — И стряхнул с рук талую воду.

Мы забрались обратно в машину, и Векслер без слов вырулил на шоссе. Вскоре я заметил указатель поворота на Брумфилд и понял, что половина пути осталась позади. Я сам вырос в Боулдере, и мне приходилось преодолевать расстояние между ним и Денвером, наверное, тысячу раз, однако сейчас этот отрезок шоссе казался каким-то незнакомым и чужим.

Неожиданно я задумался о том, как воспримут известие о смерти Шона наши родители. «Стоически», — решил я в конце концов. На моей памяти отец с матерью именно так реагировали на все беды и превратности судьбы. Они никогда ничего не обсуждали, а просто шли дальше и не позволяли себе оборачиваться. Так было, когда утонула Сара. Так будет и теперь, с Шоном.

— Почему он сделал это? — спросил я несколько минут спустя.

Ни Векслер, ни Сент-Луис не ответили.

— Я его брат, — настаивал я. — Не просто брат, а близнец.

— И репортер, — отозвался Сент-Луис. — Мы взяли тебя только затем, чтобы в случае надобности рядом с Рили оказался кто-нибудь из родственников. Ты — единственный, кого...

— Мой брат покончил с собой, черт вас побери!

Я сказал это чересчур громко. В моем голосе прозвучали истерические нотки, а я лучше многих знал, что истерикой копов не проймешь. Когда ты начинаешь орать, они закрываются, как моллюски, становятся холодными и невосприимчивыми, словно камни.

И я заговорил спокойнее:

— Мне кажется, я имею право знать, как это случилось и почему Шон так поступил. Никаких репортажей, никаких дурацких статей. Господи, неужели вы не можете...

Я не закончил фразу и затряс головой. Мне казалось, что если я попробую договорить до конца, то лишусь последнего шанса. Вместо этого я высунулся из окна и стал смотреть, как несутся навстречу все еще далекие огни Боулдера. И впервые подумал, что с тех пор, как я был ребенком, их стало гораздо больше.

— Мы не знаем — почему, — откликнулся Векслер минуты через полторы. — Я могу только сказать, что подобное случается. Иногда полицейские смертельно устают от всего того дерьяма, что стекает в городскую канализацию. Мак мог просто устать, вот и все. Кто знает? Следствие уже началось, и, если ребята разберутся, я тебе обязательно обо всем расскажу. Можешь считать это обещанием.

— Кто ведет дело?

— Линейное отделение парка передало следствие нашему управлению. Им занялся спецотдел.

— Спецотдел? Но спецотдел не занимается самоубийствами полицейских.

— Обычно нет. Как правило, такие дела тянем на горбу мы, отдел ППЛ. Но в данном случае никто не даст нам расследовать смерть одного из своих. Так называемый конфликт интересов...

«ППЛ — преступления против личности, — подумал я. — Насильственная смерть, разбойные нападения, изнасилования, самоубийства. Интересно, чье имя будет вписано в графу „Потерпевший“? Против кого совершено это преступление? Против Рили? Меня? Наших родителей? Против моего брата?»

— Это все из-за Терезы Лофтон? — напрямик спросил я, хотя, строго говоря, это не было вопросом. Я не нуждался ни в отрицательном ответе, ни в подтверждении с их стороны. Просто я высказал вслух то, что, как мне казалось, было очевидным.

— Мы не знаем, Джек, — отозвался Сент-Луис. — Давай покамест не будем об этом говорить.

Смерть Терезы Лофтон была из разряда преступлений, узнав о которых большинство людей хоть ненадолго, но задумывается. И не только у нас в Денвере, но и повсюду. Каждый, кто услышал о подобном или прочел в газетах, застыл бы на месте по крайней мере на несколько мгновений, чтобы справиться с чередой страшных видений, которую подобное известие способно вызвать к жизни в мозгу любого человека, и преодолеть возникший в душе холод.

Большинство случаев насильственной смерти являются «малыми убийствами», как называем их мы, журналисты, да и все прочие, кто имеет отношение к газетному бизнесу. Они имеют довольно ограниченное влияние на умы и сердца читателей и, если и подстегивают воображение обычных граждан, то совсем немного. Как правило, подобные случаи попадают в раздел криминальной хроники и занимают всего несколько строк на внутреннем развороте. Выражаясь высоким штилем, сооб-

щения о них похоронены в газетной бумаге так же, как жертвы — в земле.

Однако, когда расчлененный труп юной симпатичной студентки университета оказывается однажды утром в таком сугубо мирном месте, как Вашингтон-парк, в газетах обычно не хватает места, чтобы опубликовать все детали и версии события. Убийство Терезы Лофтон к разряду «малых» отнести было совершенно невозможно. Больше того, оно, словно мощный магнит, притягивало репортеров со всех концов страны. Труп Лофтон был разрезан пополам, что стало той самой «изюминкой», которая отличала это преступление от многих других, и в Денвер как мухи на мед слетелись журналисты, хлынули борзописцы из разного рода бульварных листков и телевизионщики из Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса. Целую неделю они заполняли лучшие отели и процесывали улицы Денвера и университетский городок, задавая дурацкие вопросы и получая бессмысленные ответы. Некоторые даже наведывались в детский сад, где Лофтон подрабатывала в свободное от учебы время, а другие отправились в Монтану — в тот городишко, откуда погибшая была родом. Но куда бы репортеры ни забирались, повсюду они находили подтверждения того, чего им больше всего хотелось, а именно: Тереза Лофтон прекрасно соответствовала прессой же созданному идеальному образу Типичной Американской Девушки.

Неоднократно это убийство сравнивали — просто не могли не сравнить! — с делом Черной Делии, которое расследовалось полсотни лет назад в Лос-Анджелесе. Тогда разрубленный пополам труп, принадлежавший, правда, девушке, которая гораздо меньше подходила под стандарт типичной американки, был обнаружен на безлюдной автомобильной стоянке. Наскоро состряпанное шоу, прошедшее по каналам кабельного телевидения, сравнивало эти два случая и называло Лофтон Белой Делией, неуклюже обыгрывая тот факт, что труп моло-

дой белокожей студентки был найден на заснеженном пустыре неподалеку от озера Грассмер.

И все же, несмотря на поднявшуюся шумиху, нельзя было не признать, что случай действительно вопиющий, да и подробности говорили сами за себя. На протяжении двух с лишним недель денверское убийство оставалось животрепещущей новостью, о которой все только и говорили. Однако, хотя дело это и находилось на особом контроле у местных властей, никто так и не был арестован, а вскоре внимание средств массовой информации отвлекли другие преступления. Текущие сообщения об убийстве Лофтон перекочевали на внутренние развороты колорадских газет, превратившись в коротенькие, в несколько строчек, заметки, и дело Терезы Лофтон заняло свое место среди «малых убийств». В конце концов это страшное преступление было похоронено и перестало занимать умы читающей публики.

Все это время полиция вообще и мой брат в частности хранили абсолютное молчание, как краснокожие под пытками, отказываясь даже подтвердить тот факт, что обнаруженное тело было расчленено. Сообщение об этом попало в газеты по чистой случайности, благодаря Игги Гомесу, фотографу из «Роки-Маунтин ньюс». Он в то утро как раз прогуливался в парке, надеясь сделать несколько фото «первозданной природы» — снимков, что заполняют собой страницы газет в дни, небогатые чрезвычайными событиями, — когда неожиданно набрел на место происшествия, опередив всех других корреспондентов. (Полицейские связались с коронером по телефону, так как знали, что «Роки-Маунтин ньюс» и «Денвер пост» прослушивают их радиочастоты.) Гомес успел сделать снимки носилок, где лежали два пластиковых мешка, в которых обычно перевозят трупы, а затем позвонил дежурному редактору в отдел городских новостей и сообщил, что копы расследуют двойное убийство, при-

чем, судя по размеру мешков, тела, вероятно, принадлежат детям.

Несколько позднее Ван Джексон, хроникер «Роки-Маунтин ньюс», связался со своим источником в аппарате помощников коронера и узнал мрачные подробности этого дела, которые заключались в том, что жертва была одна, но в морг попала в двух пластиковых мешках. На следующее утро эта история уже красовалась на первой полосе нашей газеты, что и послужило сигналом общего сбора для журналистов со всей страны.

Мой брат и его следственная группа держались так, словно вовсе не чувствовали себя обязанными сообщать что-либо широкой общественности. Пресс-отдел Управления полиции Денвера ежедневно выпускал кратенький релиз, где в нескольких скучных строках извещал репортеров о том, что расследование идет своим чередом и никаких арестов пока не произведено. Будучи загнанным в угол, полицейское начальство поклялось, что журналистского расследования дела Лофтон стопроцентно не будет, но это заявление само по себе выглядело смехотворно: прессы, которую официальные власти снабжали минимумом информации, поступила так, как поступала всегда в подобных случаях, начав свое собственное расследование, и принялась обрушивать на читателей и телезрителей множество самых различных подробностей, касающихся личной жизни жертвы и не имеющих ни малейшего отношения к обстоятельствам ее гибели.

Между тем из полицейского управления по-прежнему не поступало никаких сведений; фактически за пределами штаб-квартиры полиции на Делавар-стрит мало кто знал, как обстоят дела в действительности, и потому спустя пару недель активность прессы, не получавшей свежей информации, которая для пишущей братии являлась тем же, чем являются для обычного человека воздух и хлеб, пошла на убыль.

Сам я ничего не писал об убийстве Терезы Лофтон, но отнюдь не потому, что мне этого не хотелось. Столь громкое дело встречается в наших краях слишком редко, чтобы его можно было проигнорировать, и любой репортер на моем месте отдал бы что угодно за возможность приложить к нему руку. Однако в нашей газете в данном случае с этой темой с самого начала работали Ван Джексон и Лаура Фицгиббонс, признанный специалист по сенсационным разоблачениям. Поэтому мне оставалось только терпеливо ждать своего часа. Я знал, что до тех пор, пока картина хоть чуть-чуть не прояснится, мои шансы остаются вполне реальными, и не торопил события. Именно поэтому, когда в первые дни после происшествия Джексон попросил меня попытаться разузнать какие-нибудь подробности у моего брата — хотя бы неофициально, — я обещал попробовать, но так ничего и не предпринял. Мне самому нужна была эта золотая жила, и я не собирался помогать Джексону разрабатывать ее, да еще используя для этого свои собственные контакты.

В конце января, когда делу Лофтон исполнился месяц с небольшим, а сообщения о ходе расследования почти исчезли из печати, я сделал первый шаг в этом направлении. И, как оказалось, совершил ошибку.

Одним январским утром я явился к Грегу Гленну, главному редактору отдела городских новостей, и сообщил ему, что хотел бы попробовать сделать большой материал по делу Лофтон. Собственно говоря, подобные вещи были моей специализацией, в которой я успел достичь значительных высот; мои статьи, посвященные самым громким убийствам, сделанные как бы вдогонку событиям, занимали далеко не последнее место в империи новостей «Роки-Маунтин ньюс». Говоря языком штампов, принятых в нашем газетном мире, эти статьи следовали за сенсационными заголовками, чтобы рассказать читателям, как все было на самом деле.

Итак, я пошел к Гленну и напомнил ему, что у меня есть что сказать об этом интересном деле. Я объяснил ему, что расследование ведет мой брат, который вряд ли станет говорить на данную тему с кем-нибудь, кроме меня. Гленн не колебался ни минуты, хотя и знал, сколько времени и сил уже потратил на Лофтон Ван Джексон. Я, впрочем, с самого начала знал, что это его не остановит. Единственное, что интересовало редактора, так это возможность раздобыть для нашей газеты материал, которого нет у конкурентов из «Денвер пост», и через несколько минут я уже выходил из кабинета главного, получив его полное одобрение.

Ошибка моя заключалась в том, что я объявил Гленну об имеющемся у меня доступе к любопытным материалам до того, как поговорил с Шоном. Когда на следующий день я прошел два квартала, отделявшие редакцию от здания городского управления полиции, и, пригласив брата на ланч, попробовал завести с ним разговор о здании, над которым работал со вчерашнего дня, Шон неожиданно дал мне, как говорится, отворот.

— Придется тебе дать задний ход, Джек, — сказал он. — К сожалению, я ничем не могу тебе помочь.

— Почему? — удивился я. — Это же твоё дело, ты его ведешь.

— Да, это дело поручено мне, но я не стану сотрудничать ни с тобой, ни с кем-либо другим, кто захочет о нем писать. Некоторые моменты общего характера я уже сообщил нашей пресс-службе. С ними ты можешь ознакомиться. Что же касается подробностей... извини, но их не будет.

Шон отвернулся и уставился куда-то вглубь кафетерия, в котором мы беседовали. Эта его привычка не смотреть мне в лицо, когда между нами возникали разногласия, неизменно действовала на нервы. Когда мы были мальчишками, я бросался на Шона, стоило только ему

отвернуться, и принимался дубасить. К сожалению, теперь я не мог поступать, как прежде, хотя порой — не скрою — мне очень этого хотелось.

— Но, Шон, у меня могла бы получиться отличная статья. Ты должен...

— Я ничего никому не должен, и мне плевать, какая из этого может выйти статья. Я знаю только одно: это очень скверное дело, Джек. Ясно? Оно никак не выходит у меня из головы, и я не собираюсь помогать твоей газете увеличивать тиражи...

— Ну, что же ты замолчал? Шон, мне наплевать на тиражи! Да и на саму газету тоже начхать! Но я ведь журналист, черт побери! И не могу упустить такую тему! Ты же отлично понимаешь, насколько это для меня важно! Ты прекрасно знаешь, что я думаю по этому поводу!

В конце концов Шон повернулся ко мне.

— Что же, а теперь ты знаешь, что думаю по поводу этого расследования я сам, — медленно проговорил он.

Некоторое время я молчал, потом вытащил «Кэмел». Тогда я курил мало — не больше половины пачки в день — и вполне мог обойтись без той конкретной сигареты, однако знал, как моя привычка раздражает Шона. Я всегда закуривал, когда мне нужно было воздействовать на него.

— Это зал для некурящих, Джек.

— Тогда позови управляющего. В этом случае ты арестуешь хоть кого-нибудь.

— Почему ты всегда начинаешь брызгать ядом, когда не можешь добиться того, чего тебе хочется?

— А ты? Ты же не можешь довести до конца это дело, верно? Вот где на самом деле собака зарыта! Ты просто не желаешь, чтобы я копался в твоем грязном белье и писал о твоих промахах и неудачах. Ты поднял лапки кверху, дружок.

— Не пытайся ударить меня ниже пояса, Джек. Ты же знаешь, это никогда не срабатывало.

Он был прав. Никогда.

— Тогда в чем дело? Может быть, ты хочешь сохранить эту маленькую историю-страшилку для себя лично? Что, я угадал?

— Ну что же, — ответил Шон. — Можно и так сказать.

Сидя в полицейской машине с Векслером и Сент-Луисом, я скрестил руки на груди. Это было удобно, да и ощущал я себя несколько увереннее, словно такая поза помогала мне успокоиться и собраться с мыслями. Чем больше я думал о смерти брата, тем меньше смысла видел во всем происшедшем. Мне, правда, было известно, насколько дело Терезы Лофтон тяготило его, однако я ни в коем случае не допускал, что оно в состоянии заставить Шона лишить себя жизни. Не такой это был человек.

— Он застрелился из своего пистолета?

Векслер бросил на меня быстрый взгляд в зеркале заднего вида.

«Изучает, — подумалось мне. — Интересно, знает ли он о нашей с Шоном размолвке?»

— Да.

Меня словно бы под дых ударили. Я не понимал, как это могло произойти. Ну не мог Шон так поступить, не мог, и все тут — уж я бы заметил признаки надвигающейся катастрофы, хотя в последнее время мы встречались довольно редко. При чем тут дело Лофтон?! Что бы там ни утверждали Векслер с Сент-Луисом, ситуация представлялась мне невероятной, просто невообразимой.

— Только не Шон, — сказал я вслух.

Сент-Луис повернулся, чтобы посмотреть на меня.

— В смысле?

— Шон не мог так поступить, и точка.

— Послушай, Джек, он...

— Он не мог устать от той дряни, которая, если воспользоваться твоими словами, стекает в городскую канализацию. Он любил свою работу, спросите хоть Рили, хоть кого угодно... Ты же сам хорошо знал Шона, Векс, и не можешь не понимать, что все эти разговоры — дермо собачье! Он любил охоту — так Шон называл то, чем ему приходилось заниматься, — и не променял бы свою работу ни на какую другую. Если бы Шон захотел, он уже мог бы, наверное, стать заместителем начальника управления, но он не захотел, а остался в отделе ППЛ. Шону нравилось расследовать убийства!

Векслер не ответил. Мы уже въехали в Боулдер и двигались по Бейслайн, направляясь к гидростанции. Никто не произнес больше ни слова, и я чувствовал себя так, словно проваливался в ватную тишину салона. Потрясение от того, что я узнал — от того, что Шон, по словам детективов, учинил над собой, — было очень сильным, оно обрушилось на меня всей своей тяжестью, и мне казалось, что я стал таким же грязным и холодным, как снег на обочине шоссе.

— А как насчет предсмертной записки? — осведомился я наконец. — Что-нибудь нашли?

— Записка была. Мы, во всяком случае, думаем, что это была именно записка.

Я заметил, как Сент-Луис метнул на напарника быстрый взгляд, словно предупреждая его: не стоит болтать лишнего.

— Что?! Что Шон написал?

Последовало молчание, которое показалось мне бесконечным. Наконец Векслер решил проигнорировать предостережение Луиса.

— «Вне границ, — сказал он, — и вне времен».

- «Вне границ и вне времен»? — повторил я. — И это все?
- Да, Джек, именно так: это было все, что написал перед смертью Шон.

Улыбка на лице Рили продержалась, быть может, секунды три. Затем в одно мгновение ее сменило выражение беспомощного ужаса, какое можно увидеть только на картинах Мунка. Все-таки человеческий мозг может дать сто очков вперед любому компьютеру — трех секунд наблюдения за нами оказалось вполне достаточно, чтобы Рили поняла: ее муж больше никогда не вернется домой. Никакой IBM это не по плечу.

Губы Рили приоткрылись, и на лице образовался жуткий черный провал, из которого вырвался сдавленный, нечленораздельный звук. Затем она выдохнула неизбежное в таких случаях, но абсолютно бесполезное: «Нет!»

— Рили, — сказал Векслер, — давай присядем на минутку.

- О боже, нет! Нет!!!
- Рили...

Она попятилась от дверей, словно загнанный в угол зверек, который порывается бежать то в одну, то в другую сторону; должно быть, Рили казалось, что она сумеет что-то изменить, если ей удастся уклониться от разговора с нами. В конце концов она скрылась за углом коридора, ведущего в гостиную.

Когда мы последовали за ней в комнату, Рили полулежала на диване в состоянии, близком к кататоническому ступору, что, впрочем, не сильно отличалось от того, что чувствовал сейчас я сам. Слезы только-только показались в уголках ее глаз.

Векслер опустился рядом с Рили на диван. Большой Пес и я остановились поблизости и трусливо молчали.